

Жидовская кувырколлегия

Дело было на святках после больших еврейских погромов. События эти служили повсеместно темой для живых и иногда очень странных разговоров на одну и ту же тему: как нам быть с евреями? Куда их выпроводить, или кому подарить, или самим их на свой лад переделать? Были охотники и дарить, и выпроваживать, но самые практические из собеседников встречали в обоих этих случаях неудобство и более склонялись к тому, что лучше евреев приспособить к своим домашним надобностям — по преимуществу изнурительным, которые вели бы род их на убыль.

— Но это вы, господа, задумываете что-то вроде «египетской работы», — молвил некто из собеседников... — Будет ли это современно?

— На современность нам смотреть нечего, — отвечал другой: — мы живем вне современности, но евреи прескверные строители, а наши инженеры и без того гадко строят. А вот война... военное дело тоже убыточно, и чем нам лить на полях битвы русскую кровь, гораздо бы лучше поливать землю кровью жидовскою.

С этим согласились многие, но только слышались возражения, что евреи ничего не стоят как воины, что они — трусы и им совсем чужды отвага и храбрость.

А тут сидел один из заслуженных военных, который заметил, что и храбрость, и отвагу в сердца жидов можно влить.

Все засмеялись, и кто-то заметил, что это до сих пор еще никому не удавалось.

Военный возразил:

— Напротив, удавалось, и притом с самым блестящим результатом.

— Когда же это и где?

— А это целая история, о которой я слышал от очень верного человека.

Мы попросили рассказать, и тот начал.

— В Киеве, в сороковых годах, жил некто полковник Стадников. Его многие знали в местном высшем круге, образовавшемся из чиновного населения, и в среде настоящего киевского аристократизма, каковым следует, без сомнения, признавать «киевских старожилов мещан». Эти хранили тогда еще

воспоминания о своих магдебургских правах и своих предках, выезжавших, в силу тех прав, на днепровскую Иордань верхом на конях и с рушницами, которые они, по команде, то вскидывали на плечо, то опускали «товстым кинцем до чобота!» Захудалые потомки этой настоящей киевской знати именовали Стадникова «Штаниковым»; так, вероятно, на их вкус выходило больше «по-московски» или, просто, так было легче для их мягкого и нежного произношения.

Стадников пользовался в городе хорошею репутациею и добрым расположением; он был отличный стрелок и, как настоящий охотник, сам не ел дичи, а всегда ее раздаривал. Поэтому известная доля общества была даже заинтересована в его охотничьих успехах. Кроме того, полковник был, что называется, «приятный собеседник». Он уже довольно прожил на своем веку; честно служил и храбро сражался; много видел умного и глупого и при случае умел рассказать занимательную историю.

В рассказах Стадников всегда держался короткого, так сказать, лапидарного стиля, в котором прославился король баварский, но наивысшего совершенства, по моему мнению, достиг Степан Александрович Хрулев.

Стадников, впрочем, и с вида был похож на Хрулева, да имел и некоторые другие, сходные с ним, черты. Так, он, например, подобно Хрулеву, мог играть в карты без сна и без отдыха по целой неделе. Соперников по этой выносливости у него во всем Киеве не было ни одного, но были только два, достойные его сил, партнера. Один из них был просто иерей, а другой — протоиерей. Первого из них звали Евфимием, а другого — Василием. Оба они были люди предобрые и пользовались в городе большою известностью, а притом обладали как замечательными силами физическими, так и дарами духовными. Но при всем том полковник далеко превосходил их в выносливости и однажды до того их спутал, что отец протоиерей, перейдя от карточного стола к совершению утреннего служения, не вовремя позабылся и, вместо положенного возгласа: «яко твое царство», — возгласил причетнику: «пасс!»

Впрочем, в доброй компании, которая состояла из этих трех милых людей, не только делали, что играли: случалось, что они иногда отрывались от карт для других занятий, например, закусывали и кое о чем говорили. Рассказывал, впрочем, по преимуществу, более один Стадников и, как некоторые примечали, он, будто бы, как рассказчик, не очень строго держался сухой правды, а немного «расцветчал» свои повествования, или, как по-охотничьи говорится, немножко привирал, но ведь без этого и невозможно. Довольно того, что полковник делал это так складно и ладно, что вводную неправду у него было очень трудно отличать от действительной основы. Притом же

Стадников был неуступчив и переспорить его было невозможно.

Рассказывали, будто полковник победоносно выходил из всевозможных в этом роде затруднений до того, что его никто никогда не останавливал и ему не возражали; да это и было бесполезно. Один раз полковник ошибкой или по увлечению сказал, будто он имел где-то в степях ордынских овец, у которых было по пуду в курдюке, а некто, случившийся здесь, перехватил еще более, что у его овец по пуду с лишком... Полковник только посмотрел на смельчака и спросил с состраданием:

— Да, но что же такое было в хвостах у ваших овец?

— Разумеется, сало, — отвечал собеседник.

— Ага, то-то и есть! А у моих был воск!

Тем и покончил. Разумеется, с таким человеком спорить было невозможно, но слушать его приятно.

Говорить здесь любили о материях важных, и один раз тут при мне шла замечательная речь о министрах и царедворцах, причем все тогдашние вельможи были подвергаемы очень строгой критике; но вдруг усилием одного из иереев был выдвинут и высокопревознесен Николай Семенович Мордвинов, который «один из всех» не взял денег с жидов и настоял на призыве евреев к военной службе, наравне со всеми прочими податными людьми в русском государстве.

История эта, сколько помню, излагалась тогда таким образом.

Когда государь Николай Павлович обратил внимание на то, что жида не несут рекрутской повинности, и захотел обсудить это с своими советниками, то жида подкупили, будто, всех важных вельмож и согласились советовать государю, что евреев нельзя брать в рекруты на том основании, что «они всю армию перепортят». Но не могли жида задарить только одного графа Мордвинова, который был хоть и не богат, да честен, и держался насчет жидов таких мыслей, что если они живут на русской земле, то должны одинаково с русскими нести все тягости и служить в военной службе. А что насчет порчи армии, то он этому не верил. Однако евреи все-таки от своего не отказывались и не теряли надежды сделаться как-нибудь с Мордвиновым: подкупить его или погубить клеветой. Нашли они какого-то одного близкого графу бедного родственника и склонили его за немалый дар, чтобы он упросил Мордвинова принять их и выслушать всего только «два слова»; а своего слова он им мог ни одного не сказать. Иначе, дали намек, что они все равно, если не так, то иначе графа остепенят.

Бедный родственник соблазнился, принял жидовские дары и говорит графу Мордвинову:

— Так и так, вы меня при моей бедности можете осчастливить.

Граф спрашивает:

— Что же для этого надо сделать, какую неправду?

А бедный родственник отвечает:

— Никакой неправды не надо, а надо только, чтобы вы для меня два жидовские слова выслушали и ни одного своего не сказали. Через это, — говорит, — и вам собственный покой и интерес будет.

Граф подумал, улыбнулся и, как имел сердце очень доброе, то отвечал:

— Хорошо, так и быть, я для тебя это сделаю: два жидовские слова выслушаю и ни одного своего не скажу.

Родственник побежал к жидам, чтобы их обрадовать, а они ему сейчас же обещанный дар выдали настоящими золотыми лобанчиками, по два рубля семи гривен за штуку, только не прямо из рук в руки кучкой дали, а каждый лобанчик по столу, покрытому сукном, перешмыгнули, отчего с каждого золотого на четвертак золотой пыли соскочило и в их пользу осталось. Бедный же родственник ничего этого не понял и сейчас побежал себе домик купить, чтобы ему было где жить с родственниками. А жида на другое же утро к графу и принесли с собою три сельдяных бочонка.

Камердинер графский удивился, с какой это стати графу селедки принесли, но делать было нечего, допустил положить те бочонки в зале и пошел доложить графу. А жида, меж тем, пока граф к ним вышел, эти свои сельдяные бочонки раскрыли и в них срезь с краями полно золота. Все монетки новенькие, как жар горят, и биты одним калибром: по пяти рублей пятнадцати копеек за штуку.

Мордвинов вошел и стал молча, а жида показали руками на золото и проговорили только два слова: «Возьмите, — молчите», а сами с этим повернулись и, не ожидая никакого ответа, вышли.

Мордвинов велел золото убрать, а сам поехал в государственный совет и, как пришел, то точно воды в рот набрал, — ничего не говорит... Так он молчал во все время, пока другие говорили и доказывали государю всеми доказательствами, что евреям нельзя служить в военной службе. Государь заметил, что Мордвинов молчит, и спрашивает его:

— Что вы, граф Николай Семенович, молчите? Для какой причины? Я ваше мнение знать очень желаю.

А Мордвинов будто отвечал:

— Простите, ваше величество, я не могу ничего говорить, потому что я жидам продался.

Государь большие глаза сделал и говорит:

— Этого быть не может.

— Нет, точно так, — отвечает Мордвинов: — я три сельдяные бочонка с золотом взял, чтобы ни одного слова правды не сказывать.

Государь улыбнулся и сказал:

— Если вам три бочонка золота дали за то, чтобы вы только молчали, сколько же надо было дать тем, которые взялись говорить?.. Но мы это теперь без дальних слов покончим.

И с этим взял со стола проект, где было написано, чтобы евреев брать в рекруты наравне с прочими, и написал: «быть по сему». Да в прибавку повелел еще за тех, кои, если уклоняться вздумают, то брать за них трех, вместо одного, штраф.

Кажется, это построено слишком по австрийскому анекдоту, известному под заглавием: «одно слово министру...». Из этого давно сделана пьеска, которая тоже давно уже разыгрывается на театрах и близко знакома русским по превосходному исполнению Самойловым трудной мимической роли жида; но в то время, к которому относится мой рассказ, этот слух ходил повсеместно, и все ему вполне верили, и русские восхваляли честность Мордвинова, а евреи жестоко его проклинали.

Анекдот этот был целиком вспомнят в той задушевной беседе полковника Стадникова с иереями Василием и Евфимием, с которой начинается наш рассказ, и отсюда речь повели далее.

Не любивший делать в чем бы то ни было уступки, полковник не выдержал и сказал:

— Да, эта песня всем знакома, и давно вы ее все дудите, а того никто не знает, что все бы это ни к чему еще не повело, если бы в это дело не вмешался еще один человек. — И неуступчивый полковник сейчас же пояснил, что Мордвинов настроил это дело только в теории, а на самом исполнении оно

еще могло погибнуть. И в этой своей, гораздо более важной, части оно спасено другим лицом, с которым Мордвинов, по справедливости, должен бы поделиться честью. Но как справедливости нет на земле, то этот достойный человек не только ничем не награжден, но даже остается в полнейшей неизвестности.

— А кто же это такой? — спросили оба иерея.

— Это один простодушный кромчанин незнатного происхождения, по имени Симеон Машкин или Мамашкин, — судя по фамилии, должно быть, сын пылкой, но незаконной любви, которому я дал за всю его патриотическую услугу три гривенника, да и те ему впрок не пошли.

Отцы иереи вспомнили, как полковник спорил про бараньи курдюки, и сказали:

— Ну, это вы, вероятно, опять что-нибудь такое, из чего воск выйдет.

Но полковник отвечал, что это не воск, а история, и притом самая настоящая, самая правдивая история, которой ни за что бы не должно забыть неблагодарное потомство, ибо она свидетельствует о ясном уме и глубокой сообразительности человека из народа.

— Ну, так подавайте вашу историю и, если она интересна, мы ее охотно послушаем.

— Да, она очень интересна, — сказал Стадников и, перестав тасовать карты, начал следующее повествование.